

Ласточки прилетели на заре. Ласточки прилетели — это означало, что после холодных дождей и знобких порывистых ветров, когда солнце высокое, но неласковое, пришла летняя благодать. Теперь быстрее зарастёт трава, в огородах поднимутся овощи, а черёмуху покинет робость цветения.

Все ждали ласточек. И старики Якимовы ждали своих.

Прошлым августом, досыта налетавшись с выводком, отрепетировав их для отлёта, ласточки, видно на прощание, прилетели под сарай, покружились там, печально перекликнулись и сели всей пятёркой на изгородь, все в одну сторону — к старикам, вышедшим на крыльцо. Наохлившись, ждали: что-то на дорогу им сейчас скажут.

— Ну до свидания, до свидания, — умиляясь и с какой-то проникновенной ласковостью заговорила с ними бабка. — Напрок к нам же прилетайте — дорогу-то не забудете? А мы вас встретим. Да вы ли будете, как вас, по каким перышкам заметить?

— Они будут, — сказал дедка твёрдо, хоть и сам не умел, как отличить своих ласточек от чужих. Сидели, распушившись, пять маленьких мутно-красных комочков с воронёными головками, — где родители, где дети? Разве самчиков от самок отличить можно более чётким оперением. Нет, ничем не приметить своих, и только вера жила в старике, что непременно они и прилетят к ним из дальних стран.

И старуха поверила и потому с ещё большей сердечностью, положив руки на грудь, наказывала:

— Ну и не запаздывайте напрок. А мы вам крышу толью покроем. Нонче подтекало, так чуть не подмочило гнёздышко. Извиняемся, а вот уж новым летом будет всё хорошо. Прилетайте.

Бабка закивала головой, а ласточки, словно ждали конца прощальных слов и этого покачивания головой — разом сорвались с изгороди, цивиркнули в воздухе и отлетели к черёмуховым жухлым кустам, где подруги со всей деревни собрались на шумную сходку. Они срывались с кустов и возносились над рекой. Табун с шумом пролетал над избушкой стариков, и шум этот похож был на короткий порыв ветра. На другой день, собирая смородину, старики подивились тишине, пустоте какой-то. Хоть чирикали воробьи и другие птички, была тишина, чего-то не хватало, мир стал беднее.

— Как-то на душе сиротливо, старая, — сказал дедка, и бабка разогнулась, к чему-то прислушиваясь, и он понял, что и ей чего-то не хватало. Лицо её печально прояснилось, и она широко огляделась:

— Да ведь ласточки-то улетели!

И вот прошла зима. Прошла и весна, и прилетели ласточки. Они разместились по сараям и чердакам деревни и принялись за своё дело.

Дед поправил сарай, приколотил под стреху дощечку, и старики стали ждать своих — вот-вот прилетят и хлопчут и завеселят их молодостью жизни. Но проходили дни, над крышей летали чужие ласточки, и у соседа разгоралось вдруг их неуёмное цивирканье.

— Эко наши запаздывают, — тревожилась бабка.

— Не торопятся, — говорил дед, и оба верили, что их ласточки на подлёте.

К старикам приехал внучек Гриня. Ему было семь годов, он в школу ещё не ходил, но во всём старался казаться взрослым: просыпался вместе со стариками, ходил по двору широким шагом и за грабли и лопату брался одной рукой, будто они для него легки.

— Ну вот, баба, хвасталась: ласточки, ласточки, а где они, наши-то? И, видно, не прилетят, — говорил он, оглядывая небо.

— Будут, Гриня, — уверяла бабка. — Столько лет прилетали, а тут не прилетят.

А дед подумывал, что, видно, этот год жить без ласточек, что где-то в пути, уставшие, опустились они во встречное село и нашли дом. Или сокол их сшиб,

или какая другая беда разлучила парочку. А может, прошлогодняя беда отпугнула их.

Тогда дед ушёл на рыбалку. Он менял мушку за мушкой, пробовал рыбачить на подкрашенного червяка — рыба не ловилась, и лишь когда насобирал в воде бормашей, ловля открылась. Дед увлёкся и забыл про обед. Вернулся вечером, и тут ему рассказали о беде. Тревожный клик ласточки устраивали на дню много раз. Пролетит ли над домом коршун, кошка ли прокрадётся на чердак, сорока ли протарахтит в кустах, дед ли сам, лохматый и седой, пройдёт под гнездом — ласточки сейчас же устраивали переполох. К таким переполохам старики привыкли, и бабка ласково уговаривала их:

— Ну хватит уже, хватит. Зря-то зачем? Кошка своя. Учёная, битая за вас. Дедка не тронет, хоть и лохматый шибко и голос вон как из бочки.

Умела бабка с ласточками разговаривать и защитить умела. Из гнезда своего они глядели на бабку бусинками чёрных глаз, спокойно провожая её в огород.

— Ласковые вы мои! Да что же вы опять шумите? А ну-ка я на чердак слажу, а не там ли кот Гошка.

Она брала длинное удилище и шуровала им во всех углах чердака, оттуда через голову бабки вылетал кот, фырча, перескакивал изгородь и таился, а ласточки успокаивались, сидя на наличнике, тихо переговаривались, должно быть, благодарили бабку.

— Цивирк, цивирк. Спасибо, бабка.

Но то были обычные повсечасные тоскливые клики. Тот же сигнал был особый. Бабка так о нём рассказывала:

— Ой, как заполошно кричали тожно ласточки. Так много для пущего шуму призвали они соседок. Табун целый кружился над домом. И вопят, и плачут и рыдают, подныривают под сарай, норовя клонуть кого-то. Так сразу и решила, что беда стряслась, что этот неслух Гошка опять подкрался к гнезду. Я уж за удилище схватилась, да как гляну на гнездо — и у самой ноги подкосились. Кричу соседу: «Петруха! Петруха! Чё деется! Ласточек змея зорит!» Сама глаз не свожу с холеры, такая матёрая серуха припожаловала. Из-под дранец выползает и уж голова в гнезде. Как закричала я, она голову столбиком поставила и замерла. Петруха с тяпкой из огорода прибежал и, не мешкая, сволок её на землю.

После той беды старики недосчитались птенцов. Вместо пяти три жёлтых рта стали тянуться из гнезда. То ли их змея проглотила, то ли, испугавшись, сами выметнулись из гнезда и завалились в дрова.

Нынче тайно побаивались старики: вдруг не прилетят к ним ласточки. Улетели они тогда с памятью дурной. На далёкой стороне зиму всю печалились они о родном доме. Может, и залетали они нынче под сарай и садились в гнездо, да учуяли запахи губительные и оставили дом навсегда.

Гринька о ласточках забыл. Давно уже суслики пробудились и посвистывали рядом на горке, даже у избы под доски забирались, и хлопоты Гриньки были — как поймать зверька. Запыхавшийся, с искрой в глазах, он пронёсся мимо с ватагой ребятишек. Старики пытались унять его и не могли. Назавтра принёс он мокрого, тряпкой повисшего зверушку, был смущён и чуть не плакал, совестился взглянуть на добычу.

— Да, — ныл Гринька. — Суслики же вредители.

— Не суслик, а ты вредитель-то, и тебя бы надо выпороть за него, — пригрозил дед.

Старики проснулись и подняли головы, почуяв, что во двор их пришла перемена. На любимом колышке сидела ласточка и рассыпала радостную песню. Сперва слышалось ворковитое осторожное постреливание. Потом всё разгонялось и разгонялось воркование, концы трели забирались выше, выше, и всё плавно и успокоительно заканчивалось милой доброй ласковостью. Раньше в деревне куплетец ласточкиного пения обозначали словами: «а бабы дома я-и-ца варят» — и делали выгиб, седловинку на слове «я-и-ца».

Бабка тронула Гриньку за плечо.

— Чуешь? Гости приехали!

— Какие гости? — встрепенулся мальчишка, подумав, что не мать ли с отцом приплыли на лодке.

— Послушай-ка. Сейчас окошко распахну, — пропела бабка тонко и пригашенно, легонько раскрыла створки окна и присела, тяжёлая, сырая, на край кровати. Гринька раскрыл глаза, что-то пробормотал в полусне и тут же заснул ещё крепче. Рассветало, окрасился в розовый цвет восток. На улице было тихо, свежо и обновлённо, и ласточка с особой старательностью повторяла незамысловатое коленце — это была «своя» ласточка, она не забыла дом. Набросив на плечи пиджачишко, ласково выпевая «ах, вы, милые, дорогие», бабка вышла на крыльцо, за ней дед. Осторожно они стали выглядывать из-за угла. Ласточки заметили их, не взлетели, а переступили раз-другой по наличнику, слегка скосили головки, чтобы лучше разглядеть хозяев, и тихо по-супружески перемолвились.

— Ну вот, давайте, хлопочите, не сердитесь на нас, — сказала бабка, а дед добавил:

— Гнездо ваше цело, пожалуйста. Не хотите в старом жить, дощечка для нового приколочена.

Ласточки словно поняли: та, что бледнее оперением, самочка, поднырнула под сарай, попорхала перед старым гнездом и села на его край. Села и заглянула вовнутрь, а самчик с ещё большей страстью запел, глядя на поднимающееся из-под горы солнце, и бабка сказала:

— Наши это. Точно, что наши. Не знаю почему, наши и наши.

— А я по крылышку вон тому, чуть оттопыренному, признал певца, — приврал дед, бабка поняла его, но только головой покачала, соглашаясь.

— Хозяйничайте на здоровье, — покивала, даже поклонилась бабка и вернулась в избу.

Гринька рос в городе. Отец с матерью не любили животных, и в доме их ничего живого не было, даже цветов. В конце декабря отец приносил ёлку, и мать, подметая пол, ворчала, что от неё много сору, что иголки усыпают ковёр, и что эта ёлка последняя, потому что Гринька большой, ему осенью идти в школу. На одну неделю ёлка приносила радость. Потом она засыхала, и с балкона ночью мать выбрасывала её на улицу. Потом ёлку пинали ребята, голую втыкали в снежную кучу, хлестались ею по спинам, наконец, обламывали ветки, сгибали слегка, подтягивали верёвочкой вершинку к комлю, и получалась немудрая хоккейная клюшка. Где выросла ёлка, как выглядит лес, из которого привезли её, Гринька не знал. Не знал он, а только слышал, что есть поле, тайга, озеро, река, но отец в выходные дни играл в домино, а мать целыми днями трясла ковры и мыла полы.

Когда Гринька приехал на дачу, всё для него было ново и диковинно. Можно было бегать по лугу и топтать цветы, швырять камнями в сорок и ворон, стрелять из рогатки в воробьев. Всё, что дома называли природой, здесь словно подставля-

ло Гриньке свои бока: бей меня, рви меня, ломай меня, и Гринька почувствовал, что над всем, что окружает его, он старший, и что хочет он, то может делать. Он не понимал бабку, зачем она в красивые грядки сажает лук и репу, редьку и чеснок. Зачем охает и стонет, если вдруг повеет холодом или долго нет дождя. И так, без хлопот, всё зеленеет, всё лезет из земли, и ты только катайся себе на всём, как на ковре. Он так и не понял, почему бабка отругала его, когда он босой пробежал по грядкам и оставил на них следы.

В то утро он проснулся и не заметил никаких перемен. Когда бабка сказала, что прилетели ласточки, он посмотрел на них, сравнил с воробьями и отметил, что величиной они такие же, только поярче и поаккуратнее, и подумал, что рогаткой куда легче сшибить их, потому что они заметнее и сидят тихо, а не прыгают, как воробьи.

— Ты послушай, как они поют, — радовалась бабка, и Гриня присел на крыльцо, стал слушать, но ничего не понял, а только смеялся над тем, как ласточки отдувают щёчки, а клювик словно вышелушивает звуки. Его больше интересовала другая, молчаливая ласточка, которая то и дело присаживалась к краю лужицы на дороге, неумело ступала по земле крохотными коротенькими лапками и набирала в рот изрядный комочек грязи.

Затем вспархивала, летела под сарай и там приклеивала грязь к гнезду. Потом вдруг взвилась над крышей, послышался слабый щёлк, и в клюве забелело перышко. И перышко ласточка положила в гнездо. В голове Гриньки заворошилась затея: если привязать перышко к удилицу, залезть на крышу и размахивать — вот как ловко можно подшибить птичку, когда она будет ловить перышко. Раз бабка ушла в огород, Гринька смастерил снаряд и устроился на крыше. Подлетела ласточка и стала ловить перо. Стоило Гриньке махнуть удилицем — и она упала бы замертво. Но пока он будет смотреть, как она кружится, хватая перо и, забыв, что оно привязано, подлетает вновь. Когда от удара упадёт на крышу, он рассмотрит её ближе, увидит хорошо её головку, крылышки, стрельчатый хвостик. «Ударить или не ударить?», — размышлял Гринька, глядя на лёгкое порхание ласточки, её кружение, смешное и глупое непонимание, что перышко на нитке, его не отнесёшь в гнездо.

— Ты что с удилицем-то по крыше? — крикнула из огорода бабка. — Да он, мошенник, касатку погубить хочет! — хлопнула она руками. — Слазь, разбойник! Чё удумал, чё удумал! Слазь, говорю!

Гринька засмеялся и ответил:

— Не трону. Мне просто смешно, как она кружится. Хотел, а теперь не стану.

— Хотел, говоришь? — и бабка подбежала к сараю и подставила лестницу. Близо увидела настороженные, встревоженные и радостные глаза внука.

— Говоришь, хотел, дак давай-ка сюда удилицем-то. Он хотел! Ты что же это сказал, Гриня? Мы ждали, ждали, а он хотел. Ай-я-я-я!

— А зачем ей это перышко? — спросил Гринька.

— Дак ведь птенчиков же она высиживать будет.

— Как высиживать?

— А нанесёт яичек и сядет на них. Греть их будет. Из яичек-то птенчики и вылупятся. Опеть тут перышки пригодятся.

— Ладно, я их не буду убивать, глядеть только буду. — Увлёкся Гринька, не слушая бабку, а всё заворачивая глаза к небу и следя бойко за ласточкиным полётом. Но сильная рука схватила его за ошкур и потащила с крыши, совлекла штаны

и крепко шлёпнула по голому заду. Гринька убежал в сени и только оттуда услышал басовитый и необычно сердитый голос деда:

— Я вот тебе поварначу. Где-ка ты!

Вечером перед сном, когда хлопотуньи-ласточки уgomонились, сели на наличник, дедка прилёт к обиженному Гриньке и, дыша ему в затылок, заговорил:

— Ну вот, не сердись. Влетело не зря. Такая пора твоя, всему учить надо. Мне вот такому, как ты, тоже от деда попадало.

Гринька завозился в постели. Ему хотелось узнать, как наказывали дедку, и утешиться.

— Это, наступил раз ильин день, праздник ранешний. Все, кто косил и метал сено, уехали праздновать, а меня оставили на острове балаганы стеречь. Ну вот я и почал тосковать. И туда, и сюда мечусь, на берёзу залез, чтобы хоть гору родную увидеть.

Увидел её — пуще того затосковал. И что ты думаешь: слышу, кто-то мне подывает, подвизгивает. А это наша рыженькая собачонка Марсик бегаёт под деревом. «Да ведь ты же со всеми домой уплыла!» — удивляюсь я. Она как почала ухмыляться, почала объяснять хвостом своим и всякими виляниями: «Я, говорит, побежать-то побежала со всеми, да и вспомнила, что ты один остался». Я так и возликовал — малый был, а понял, вон каким смыслом живёт собака, она пожалела меня, одиночество моё разделила. Как слез с берёзы, она облизала меня, даже слёзы мои слизнула с глаз и вроде веселит меня. Кувыркается, бегаёт, прячется и выскакивает, манит разыграться, забыться — и увлекла-таки от шалашей к берегу. Брошу я щепку в реку — она бросается за ней, поймает и поднесёт тебе. И так и день и другой играем мы с ней и спим в обнимку. Весь остров с ней обегали, и про шалаши забыли, и не надо было другого товарища. Вот оно животное-то, что значит для человека.

— А попало-то за что? — спросил Гринька.

— А! Попало вот за что. Я за зарод залез и Марсика туда заволок, и измяли мы с ним всю верхушку. Пошёл дождь и промочил зарод-то на весь аршин. Дед мне и высыпал. Надо было. Поучил. Наука нам, брат, ой как нужна.

— Собаку бы нам какую, — с грустью сказал Гринька.

— Собаку бы надо, да бабка не любит. Но ты погоди — мы уговорим её.

Гринька улыбнулся счастливый.

— А ведь я с птичкой-то тоже хотел поиграть. Я что — убить, что ли, хотел?

— Ну, это, брат, игра кошки с мышкой. Иные птичек в клетки ловят — это тоже не игра. Один на воле, другой в тюрьме. А так вот пожить с птахами, как мы с бабкой живём. Ты вот внучек наш, и они как бы тоже из нашей семьи.

Ласточки налетались, напелись и стали тихими и домовитыми. Одна терпеливо ждёт, сидя на наличнике. Вот коротким словом они перемолвились, и та, что сидела в гнезде, чёрным комом вывалилась, плавно подхватила на крыльях и вознеслась над черёмуховым кустом, опустилась к реке, подняла, как бабочка, над собой крылья и на лету чирикнула клювом по воде, попила водички и теперь покормиться надо. Она принялась рисовать в воздухе причудливые углы и повороты, подхватывая встреченных на пути насекомых.

Другая осторожно влезла в гнездо и, встряхнувшись, распушилась, чтобы стать больше и пышней, покрыть собою яички. Ни дедкино колотье дров, ни бабкино погромыхивание на кухне, ни Гринькино зыбанье в гамаке не пугают её. Стоит Гринькино удилище на крыше, ветер колышет перышко, и ласточке нет до него дела: дом их построен, и заняты они другими заботами. Дрова дедка колет

негромко, посуду бабка моет неторопливо, и разговаривают они вполголоса. И Гринька стал потише.

— Баба! А что, они долго ещё будут сидеть? — полушёпотом спрашивает он.

— Сядне какой день-то? Понедельник? — задумчиво и умилённо поглядела бабка на внука. — Ну вот, в тот понедельник опять весело будет у нас. Семья прибавится.

Раз Гринька вошёл в сарай и схватился за голову. Досель тихие ласточки подняли крик, так и носятся над головой, словно норовят клюнуть, фуражку ли с головы сорвать. Гринька подумал, что приняли они его за чужого человека, и по-бабкиному заговорил с ними.

— Ну что вы на меня набросились? Что я вам плохого сделал? Отстаньте вы от меня, успокойтесь.

Потом и на деда они так же набросились, и он заулыбался и сказал:

— Вот и дождались. Как говорят, пополнение пришло. Теперь нашему брату мужику крепко попадать будет.

— Это о каком ты, деда, пополнении говоришь? — всё ещё не догадывался Гринька.

— Ластотятя у них вылупились. Хлопот у них теперь будет громче наших. Не пройди, не пробеги тут. Крику не оберёшься. Да замолчите вы! — притопнул дед ногой, а ласточки того громче расшумелись: «у-хо-ди-те!»

Шум этот бабка услышала из огорода и, улыбаясь, тихо поджидала, когда дедка позовёт её.

— Иди-ка сама, утихомирь их. Вишь, распетушились. Послушаем-ка, Гриня, как бабка разговаривать с ними будет.

Бабка от гряд махнула на старого с малым рукой: уходите-ка, сейчас я, — и вытерла губы фартуком, охлопалась, откашлялась и с места запела:

— Ах вы, мои голубоньки! Да неужели к вам деточки прилетели! Сколь же их у вас? Пятёрочка, поди, цельная. Ну, летайте, летайте, кормите их и не пугайтесь ни дедоньки, ни внучечка. Они наши, наши оба.

Ласточки всхлипнули ещё по разу и сели рядом на наличник, будто собрались слушать дальше бабку.

— И никто вас не тронет. А котище проклятый придёт, я его метлой прогоню. Сбережём мы вас, сбережём. И не пугайтесь нас. Как же нас пугаться, если кой годок племя ваше оберегаем и от сорок, и от ворон, и от кошек.

Так вот наговаривала бабка ласточкам, стоя перед ними, как перед иконой, сложив на животе руки, вытягивая в ласковости губы и мягко сощуриив глаза. Гринька смотрел, смотрел на бабку и вдруг захохотал. Ласточки сорвались с места и зашумели вновь, и бабка тем же ворковитым голосом попрекнула внука, обращаясь к ласточкам.

— Это он так, милые, по глупости спугнул вас. Глупенький ещё. А наберётся разума и перестанет так делать.

Гринька смутился и отошёл от окна.

— Отчего, баба, так: ты идёшь, они внимания не обращают. Мы с дедой идём, они крик поднимают? — спросил Гринька бабку.

— А я колдунья, Гриня, — ответила бабка. — Я их лаской, добротой околдовала. Они крошки неразумные, а понимают, кто как с ними разговаривает, кто как поведёт рукой, шагнёт, брякнет. Я всё стараюсь ровно делать. Таким колдуном и ты можешь быть.

— Неужели и я могу! — воскликнул Гринька.

— Можешь и ты. Сядь на чурку и делай что-нибудь, хоть поплавок для рыбалки. И как зашумят они, ты песню тихо запой. Какую песню-то запоёшь?

— «Через две зимы, через две весны...»

— Добрая песня. Негромко только, мурлыкай и не гляди, что галдят. Пой по-маленьку, не торопясь, и поплавочек строгай — и околдуешь их.

— Ну, баба! — подивился Гринька и сел на чурбан, проводив бабку в огород.

Ласточки тут же подняли гвалт. Гринька же закачал головой, застрогал палочку и запел песню, прерывая её и тихо приговаривая:

— Поорите, поорите маленько. Устанете и перестанете. — Ласточки покричали ещё немного, устали, видно, на самом деле, и утихомирились, и Гринька косым взглядом стал поглядывать, как пташки улетали поочерёдно и приносили полные рты насекомых. Сидя на кромке гнезда, неторопливо одаривали добычей невидимых птенцов, и в этот миг едва доносилось до слуха слабое скрипение. Другая ласточка в это время не сводила с Гриньки чёрных крапинок глаз. «Сторожи, сторожи», — спокойно говорил Гринька и пел песню, постукивая палочкой по чурбану, пяткой поколачивая по земле, всё затем, чтобы взволновать пташку — она в ответ только зевнула. Гринька поднял руки и пальцами поиграл, запел погромче, птичка унеслась с наличника, на её место села другая и тоже зевнула, не выпалились они, что ли? Накормив детёнышей, пташки сели рядом и стали переговариваться. Гриньке почудилось, что они говорят о нём.

— Посматривать надо за ним, — говорила одна.

— Этот мальчик не озорник, — отвечала ей другая. На миг умолкали и опять о том же:

— Гляди да гляди.

— Что глядеть, что глядеть, — успокаивала другая.

Обе вспорхнули и улетели. Обрадованный доверием ласточек, Гринька побежал в огород, хлопая в ладоши, закричал:

— Баба! Баба! Мы мир заключили! Мир!

— С ласточками? — спросила бабка.

— Ага! Теперь ещё с дедой им помириться.

Но когда вернулся с рыбалки дед и замахал удилицем, ласточки тут же набросились на него.

— А у меня мир! — похвастался внук.

— Вот и хорошо, — похвалил дед. — А мне что делать? Не любят они мои седые волосы.

Было раннее утро. Солнце ещё скрывалось за горой, когда в тесном дворе поднялся переполох. Ласточки тревожно закричали, и первой проснулась бабка. Её-то они, видно, и ждали, и кружились подле окна, словно просили, чтобы она вышла поскорей и отвела беду.

— Сичас, сичас, перестаньте! Эко расшумелись, видать, и вправду что-то неладно.

Тонкий ласточий вопль на миг заглушил гортанный урывчатый рокот, и бабка метнулась на улицу. Из-под сарая бесшумно и стремительно выметнулась сорока, едва коснулась столба и, уронив себя подстреленно, пронеслась в кусты.

— Ах ты, разбойница! Ах ты, плутовка! — всполошилась бабка и разбудила деда. Он схватил со стены ружьё и в трусах выскочил на крылечко.

— Где она, мошеница?! — закричал дед, словно перед ним была не сорока,

а страшный зверь. Проснулся и Гринька. Он и глаза забыл протереть, комом вывалился из кровати и выскочил на крыльцо, охваченный светлой утренней прохладой.

— Деда! Баба! Вы кого испугались? Это на кого, деда, с ружьём-то?

На лицах стариков светилось радостное возбуждение, и Гриньке показалось, что дедка с бабкой были тоже дети.

— Не греми-ка ты пушкой-то своей, — засмеялась бабка. — Спрячь её по-дальше.

Сорока трещала в кустах. Ласточки, уставшие от ранней тревоги, сели на забор, глядели на спасителей и переговаривались:

— У-це-ле-ли, у-це-ле-ли!

— То-то, что «уцелели», — угадывала бабка ласточкино слово. — А вы не плошайте другой раз. Как она из кустов, вы к окошку и зовите нас кого-нибудь.

— Ты бы, деда, пальнул в кусты-то, — посоветовал Гринька. — Может, и попал бы в неё.

Бабка погрозила пальцем.

— Вот скажу тебе, Гриня, не надо так. У сороки-то в черёмушнике пять-шесть малых детёнышей. Что же им потом, погибать, если вы подстрелите мать или отца?

— Она же ласточек наших зорит...

— А ты-то зачем? Вот и паси их, вот и отгоняй разбойницу, не прозевай.

А дед ухмылялся, прислушиваясь к разговору. Переломил ружьё и, патроны вынув, посмотрел в стволы, упирая их в восходящее из-за горы солнце. Потом громко и радостно захохотал.

— Эко славно мы позабавились!

За ночь небо заморочилось, а с рассветом закапал дождь, запорывал ветер, воздух забузился. Бабка прикрыла огурцы плёнкой, собрала в огороде инвентарь и занесла под сарай.

— Видно, ненастье собирается, — сказала она. Гринька ждал такого же, как и раньше, светлого дня, и запечалился было, но бабка с дедкой были веселы, затаённо поглядывали в окно, будто поджидали гостя. Печку затопили и про запас принесли беремце дров.

— Однако перестанет, — заходил дедка с улицы, праздничный и суетливый, — на западе светлеет.

Тотчас и бабка выбегала на крыльцо и возвращалась уверенная.

— Не перестанет. Там облака-то не светлеют, а разглаживаются. Это к дождю. Да и ласточки вон над самой рекой летают.

Гринька глянул на широкую реку — чёрные линии гасли и вновь накладывались на свинцово-пасмурную гладь. Ласточки, казалось, тоже радовались этой хмурой и невесёлой погоде.

— Им ведь там холодно. В гнезде бы им сидеть, — сказал с грустью Гринька.

— Им такая погода как раз, — сказала бабка, — насекомая тяжела, вниз спускается, ласточкам только и остаётся, что собирай да собирай. Им такая пора — благодать. Да и чему не благодать от дождя?

И, улыбаясь, она оглядела затуманенную гору, мокрые и чёрные, как про-smолённые, крыши, умытую отцветшую черёмуху, и ласково закивала головой, и Гринька повеселел, переняв настроение бабки. Ему показалось на миг, что всё, что есть на земле: трава, кусты, огород бабкин, — глядело сейчас на небо в ка-

ком-то ожидании, подставив лицо дождю, и жаль было желтоцветной травки под крышей, которой не касалась влага. Что-то вольное и доброе разлилось по сердцу мальчишки. Он не мог усидеть в избе и выбежал во двор, за калитку, там собралась уже маленькая лужица. Гринька засучил штанишки и побродил по ней, поплясал, приятно чуя, как просекают рубашку острые капли дождя. С крыльца глядели на него дедка с бабкой и не унимали, не спугивали радость его жёстким словом «нельзя». С обеда дождь пошёл ровно и спокойно. С крыш и сараев побежали неуёмные струйки. Среди двора они собирались в ручеек. Выползал ручеек на улицу и соединялся со своими говорливыми братьями. Обнявшись, бежали они, подскакивая на сучках и коряжках, и ныряли в реку.

Это был первый тёплый ласковый дождь, и Гриньке не хотелось уходить с улицы. Набродившись по лужам и отправив свои бумажные кораблики в реку, он взял бабкин ватник и уселся под сараем. Ласточки то и дело подлетали к гнезду и подносили полные клювы корму. Отталкивая друг друга, тянулись к пище пять жёлтых ртов-треугольничков. И скрывались тотчас, как ласточки отлетали. Гринька глядел долго и убедился, что ластотят не накормишь. Понимали это и ласточки, утомлённые, садились на наличник и тихо переговаривались.

— Кормим, кормим, а накормить не можем, — сказала одна.

— Успокойся, посиди: надо и себя пожалеть, — ответила другая.

Короткими лапками они пришагнули друг к другу и стали обираться, роясь клювом в грудке, в крыльях, в хвосте; стали прихорашиваться, встряхиваясь всем тельцем, трепеща крыльями и примачивая их на спинке. Гринька спрятал под ватник красные холодные ноги, утянул голову в плечи, кепку нахлобучил ниже ушей — ему не хотелось уходить в тёплую избу. Дождь принёс неожиданные радости и волнения. Ему казалось, что похож он сейчас на все эти потяжелевшие и потемневшие предметы, которые промокли под дождём и стынут, мокнут с удовольствием. Как хорошо солнце и тепло, но и как желанна прохлада и этот ровный, покойный шорох в огороде, на реке, на крышах, словно кто-то без конца посылал на землю эту ласковую неутомительную зябкость. И не видел Гринька, как у окна в избе дед приложил к губам палец и подмигнул бабке: не мешай-де, пусть побудет парень наедине с утолненным и задремавшим миром.

Дождь шёл три дня. Под вечер разлилась пожаром закатная заря. Солнце подняло Гриньку раньше времени. Мохнато-жёлтое, оно заполнило всё кругом чистым светом. От земли, от лапушистых подсолнухов, от крыш и зелёных полей источался зыбкий пар. Всё обещало радость, и было непонятно, отчего тревожатся ласточки. Тревога была особая: они не метались под сараем, не носились над крышей, а тихо трепетали над гнездом, боясь сесть на него, порхали перед окном, словно просили разделить какую-то печаль, всхлипы их были коротки.

— Уж не заболели ли ластотята? — сказал дедка.

— Просят, просят о чём-то. Помощи просят, — встревожилась бабка и вышла во двор, за ней дедка с Гринькой. Сели под сараем на дрова и стали приглядываться, с какой стороны беда пришла. Ни кошки на сеновале, ни какой другой живности не чуялось, только воробьи дружно чирикали, радуясь наступлению ведренной погоды.

— Спали, видно, плохо, — сказал дедка и добродушно засмеялся.

— А смотри-ка, старик, что это за тёмное пятно над гнездом?

Как ни приглядывался дедка к крыше, а ничего не видел, и внук сбежал в избу за очками.

— Да ведь это, бабка, подтёк! — виновато забормотал дед, вытягивая жилистую шею. — Неужели где дырка образовалась?

— «Дырка, дырка», — сердито заворчала бабка. — У тебя всё так. «Наладил, прилетайте, гости!» Что делать-то, говори?

— А сейчас нам Гриня поможет, — бойко проговорил дед. — Полезай мне, Гриня, на плечи. Дотянись до гнёздышка, узнай поближе, велика ли беда.

Так высоко поднялся Гринька, что увидел всякую палочку, волосинку в гнезде. Открылись ему ластотята, сырые, лохматенькие, слабые головки ладят поднять и роняют их тут же. Не оперились ещё сполна, и тельца их выглядят фиолетовыми. Гринька тронул гнездо — и отвалился от него сырой ком. Гринька заорал, испуганно пуча глаза.

— Дырка, деда, дырка в крыше! Всё мокро тут! Что делать?

— Спасать будем, — вот что делать, — спокойно сказал дед.

— «Спасать!» Зла на тебя не хватает, — не унималась бабка, — мастерила, мастерила, а что толку-то. Всё у тебя комом!

— Гриня, давай-ка вот что, — советовал дед, не обращая внимания на сердитые бабкины слова. — Пошарься в другом гнёздышке, сухое ли оно, крепкое ли?

— Посмотрим-ка, ага, — догадался внук о планах деда и ощупал старое, пустое гнездо. — Хорошее, деда, хорошее!

— Вот и славно. Делай-ка теперь, что надо.

— Ты растолкуй, что делать-то. Несмыслёныш ведь, — в бабке всё ещё кипела досада на старого. Но тут она размягчила строго собранные губы и заулыбалась, увидев, как внук положил на ладонь птенца, подышал на него широко раскрытым ртом и посадил в другое гнездо. Так он всех пятерых обогрел дыханием, переселил из дома в дом и заискал глазами их родителей.

— Смотрите-ка! Сидят! — удивился он.

Ласточки не кричали, не кружились, не поднимали тревогу и только поглядывали с наличника на Гринькино дело.

— Сидят, Гриня, вполне доверяют тебе, — заговорила уже ровным голосом бабка. — А не доверяли бы, разве бы они жили у нас. Мало ли лесу.

Только Гринька слез с дедовых плеч, ласточки тут же к гнезду подлетели. Самчик строго сказал что-то, и самка в гнездо полезла. Повозилась там, похозяйничала, распушила себя, большой стала и уселась на птенцов. Самчик же пропел первое коленце своей песни, и Гринька перевёл его на свой язык.

— Гляди-ка чё! Гляди-ка чё! Гляди-ка чё!

И захлопал ладошками, когда и бабка перевела также птичью радость.

— Вот вам и «гляди-ка чё». Дом вам новый подарил Гринька-то наш.

Перед тем как выводку вылететь, ласточки опять сделались сердитыми и запрещали ходить под сарай. И уж вовсе искричались, когда один из птенцов, всякими хитростями выманенный, выпорхнул из гнезда и уселся на жердочке прясла. Родители кружились подле него, спугивали и велели лететь, крыльями касались его — птенец затрепыхался, но усидел, распушился и застыл, замер на целый час, безрадостный, словно обиделся, что лишён теперь тёплого гнезда.

Шепча что-то, Гринька подкрался к пряслу и коснулся вильчатого хвостика птенца, тот вспорхнул и вознёсся. Тут же впереди и позади него оказались родители и повели его в воздух неторопливо, робкого и неловкого. Так они покружились недолго над домом и сели передохнуть, тихо говоря что-то молчаливому малышу.

Последнего птенца ласточки грубовато вытолкали из гнезда, — так он боялся,

слабенький, так не верил в свои крылья. И верно, косо-косо запорхал к поленнице, свалился на неё, но тут же поднялся на ноги и встряхнулся. Ушибся маленько, но и осмелел, и так как отец хотел вновь столкнуть его — сам взлетел и над крышей поднялся, и тут родители, словно под конвоем, усадили его на жердочку, отчаявшегося.

Назавтра вся семья дружно летала над избой, возвращалась отдохнуть на наличник — любимое место родителей, и вновь поднималась в воздух. Лишь ночь подогнала пташек к гнезду, но внутрь они не полезли, а уселись на кромке его, скатавшись в рыженькие комочки.

Прошла неделя. Остудилось и притихло ласточье гнездо, но рядом зазвенел сотнями голосов черёмуховый куст, словно справлялся в нём последний птичий праздник. Вздымалась из листвы шумная стая, и тень её металась в воздухе, то падая к реке, то исчезая в небе.

Раз от работы огородной разогнула бабка спину, прислушалась и обвела удивлёнными глазами небо.

— Дедка! Гриня! Как тихо-то. Это пошто тихо так кругом?

— Да не ласточки ли отлетели? — спохватился дед, глянув на реку.

— Ласточки? Неужто отправились? И не попрощались. Как же так-то?

— Улетели ласточки! Куда улетели? — спросил Гринька.

— В тёплые края. До будущего лета.

И хоть без умолку чирикали воробьи, их песня казалась не главной. Гринька целый день помогал старикам убирать с огорода огурцы и помидоры и всё прихватывал себя на том, что чего-то недостаёт, будто унесли ласточки с собой само лето, и тёплую воду в реке, и радость, которая была такой особенной.

Как-то неожиданно помрачались дни, пошли холодные дожди. Спасаясь от стужи, в сени залетела ласточка и переполошила семью.

— Да как же ты не улетела-то? Что с тобой будет? — заохала бабка.

Ласточка как будто была своя, никого не боялась, спокойно сидела на черепке мухобойки, воткнутой в стену, далась в руки Гриньке и не билась, лишь вздрагивала, а Гринька дышал теплом на её атласную спинку. Так она и ночевала в сенях. Назавтра открылся тёплый день. Гостья забеспокоилась, увидела распахнутую дверь и, поблагодарив коротким щебетом, вылетела и скрылась в синеве.

Скоро Гриньку повезли в школу. Сидя в лодке, он вдруг ощутил прикосновение к рукам своим тёплых ласточкиных перьев и приохнул:

— Ох, деда, мы крышу-то не исправили. — Тут и бабка не удержалась:

— На днях деда крышу отремонтирует, а весной ты сам дощечку приколоть. Ласточки любят новые гнёзда вить.

— Ну, конечно, приколочу, — радостно отозвался Гринька.